

---

---

ВЯЧЕСЛАВ АДАМЧИК

\*

## КАРОЛЬ НЕБОЖА

*Рассказ*

Инче на православного Петра (его редко празднуют в нашей стране) младшие в деревне бабы спрашивали «великую горелку» — пировали целым звеном, благо кончили полоть лен.

После щедрого дождя ветер сушил кочки зеленого мха на крыше и вымытую днем доенку на изгороди. На вишне перед окном моталась сношенная, с вырванным плечом рубашка — пугало от сорок и скворцов.

У крыльца в пустом корыте нахолились перед дракой бесхвостые петушки, и на пригуменье мычал привязанный веревкой за колокол пестрый теленок.

Но в хате ничего не было слышно. Бабы поднимались с широкой лавки, отпихивали стол и выходили на середину хаты. Сойдясь в пары, шаркали твердыми босыми пятками по жесткому глиняному полу; над суховатыми икрами мотались черные ситцевые юбки. В окна вилась клубами пыль — горькая, от нее першило в горле.

Только одна, которой не нашлось пары, сидела в красном углу, нащелкивала языком польку и пристукивала по столу почерневшей деревянной ложкой: на край стола съезжали щербатые алюминиевые вилки, а в стакане колыхалась и, похоже было, дымилась седая, как туман, ненапитая самогонка.

Умаявшись, бабы падали на кровать и там уже отдыхали, подтягивали на бедрах юбки, заправляли за пояс кофты и поправляли волосы. Щеки у них горели, словно бабы только что стояли перед большим, на хлеб, огнем в печи. Только та, чернявая, что сидела в углу и выщелкивала польку, была спокойна и, придвинувшись теперь к окну, глядела во двор: с улицы на подворье заворачивала повозка. Кто сидел на возу, из-за коня не было видно. Крупный гнедой конь с широкой, сырой грудью и толстыми, как у бельгийских, ногами внезапно дернулся и стал — видно, зацепился задней осью за изгородь.

— Это не старый ли Кароль приехал? — спросила чернявая, глядя на улицу.

— Где? — Бабы повскакивали с кровати и столпились у окна.

— Нос у него длинный, ей-богу, почуял горелку.

— И так уже набрался.

Конь потянулся к траве, снова затрещали гнилые, видно, столбики.

— Ей-богу, изгородь поломает, — встревожилась хозяйка и кинулась в сени, не закрыв за собой дверь.

За ней побежали остальные. Взявшись за удила, хозяйка заворачивала коня; воз круто наклонился набок, о грядку шаркало переднее колесо.

— Назад, назад трохи сдай! — кричали с порога бабы. — Не дай бог, вывалится человек. — Они побежали, чтобы взяться за дышло и подать воз назад.

— Ой, да он же мертвый! — крикнула одна и отскочила от воза.

Бабы разом умолкли. На возу, деревянно вытянув ноги, лежал с открытыми незрячими глазами сухой, побритый и уже окаменевший с лица Кароль Небожа. Шапка съехала — ветер перебирал короткие седые волосы.

Бабы молча сопели, уныло стоял конь, подогнув заднюю ногу, и было слышно, как шаркали, мотались о частокол крапива и куст крупного с белыми цветами донника.

Кароля в тот день видели в местечке: в двенадцатом часу он стоял с возом у переезда. Прошел пригородный поезд, но шлагбаум еще не подымали.

— Открывай, чего ж стоять! — крикнул с воза Кароль. Он сидел на тряпье, острый крючковатый нос торчал из-под накинутого на голову рогожного куля — разыгрался дождь.

Будочник усмехнулся, сунул за голенище свернутый желтый флагжок и пошел поднимать шлагбаум; на ранте его козырька дрожали дождевые капли.

Где-то на станции затихал шум поезда, а тут, на переезде, все еще лязгали и вздрагивали мокрые рельсы. За черной, просмоленной крышей длинного склада вставал плотный — хоть ты по нему катайся — белый дым. А тут брызгал, шуршал, словно бы чего искал, дождь.

Кароль думал, что вот мокнет тряпье, и, может, придется возвращаться домой, и что вот ломит — чуть только дождь — руку, а он с самой зимы никак не собирается к доктору.

— Эй, заснул, что ли! — Переездчик хлопнул дверью, скрываясь в будке.

Кароль дернулся скользкие вожжи, конь вздрогнул мокрой спиной, наступил и пошел, тюкнув подковами о рельсы на переезде.

Местечко было мокрое, сонное: по крышам, по темной сирени в палисадничках холодно, аж леденела спина, моросил дождь. Низкие корявые яблони на картофельных огородах за хатами скрывали в своей листве мелкие, с куриное яйцо, плоды. В стеклянной бутыли, стоявшей в одном из окон, порозовел от черники белый сверху сахар. За углом высокого забора резко трещал и внезапно глох мотоцикл: там была автобусная станция; конь повернулся туда, он знал дорогу сам. Тут тихонько мок пустой, с открытой дверцей автобус, а бабы сидели под навесом, так и не сняв с голов больших шерстяных шалей, и ждали своего.

Колеса шаркали по песку, он прилипал к ободьям и сырьим тестом отваливался в колею.

За проволочной изгородью, за картофелем, на голом, словно выкошенном, пустыре коченели под дождем козы.

Около ближней хаты стояла женщина.

— Куда тебя несет? — крикнула она, отделяясь от серой стены.

Кароль узнал дурковатую Бортникову дочку. Бортник внезапно помер в конце зимы. Кароль так и остался ему должен три рубля.

— Тпру! — Кароль остановился и стал ощупывать на груди карманы — там должны были быть деньги.

«Надо отдать хоть ей. Чужим не разбогатеешь».

Остановилась и женщина. Она была в платье, надетом на голое тело. В белых, прямых, как прутья, волосах высоко, на самом темени торчал гребень.

— Как же тебя звать? — Кароль обеими руками снял с головы мешок. За шиворот посыпался холодный дождик.

— А ты, что ли, не знаешь?

— Знаю, потому и хочу отдать тебе гроши. Как-то занимал у батюки. — Кароль разглаживал скомканную бумажку.

Женщина глянула исподлобья.

— Надо бы ему и отдавать!

И пошла, ступая широко, по-мужски.

— Но-о, волк тебя ешь! — Кароль вертел над головой вожжами, приподымаясь ища под собой кнут.

Конь прижал уши, отворачивал голову от дождя. Кароль направился на изъезженную машинами улицу — она спадала в ложбинку, и конь побежал сам: напирала телега.

Дождь поредел, но не перестал. На чьей-то печной трубе до хрипоты каркала мокрая ворона. Кароль узнал крышу Красоцкого — заведующего базой утильсыря.

Кароль дернул правую вожжу — конь взъехал на мосток из кругляков через канаву и стал, упервшись мордой в высокие дощатые ворота. Во дворе гавкнула собака. Кароль сполз с воза, закрутил вожжи за веревку и, пригнувшись, исчез в узких воротах.

Посреди двора мок фикус — вынесли на дождь. В эмалированный таз у крыльца ручьем стекала вода с крыши — видно, собирали, чтобы мыть голову. Собака кинулась из будки, повисла на короткой цепи, царапая задними ногами землю, захрипела от злости — ошейник сдавил ей шею.

В окне кухни показалось простоволосое женское лицо и исчезло: Кароль узнал жену Красоцкого. Пошаркав сапогами по решетке, лежавшей перед крыльцом, Кароль кнутовищем обтер грязь с каблуков и умышленно громко затопал перед входом, чтоб услышали в доме.

— О, дядька Кароль приехал! — Женщина приоткрыла дверь, держась одной рукой за скобу, а другой придерживая собранные на затылке волосы — может быть, собралась их мыть.

Из дверей тянуло дымом — в сенях горел керогаз.

— Идите живи хату. — Женщина сняла со скобы голую руку и посторонилась...

— Не... Я тут с конем. Привез добро. А где хозяин? — спросил Кароль, не заходя в сенцы.

— Спит. Улегся, и сколько уж времени...

— Э-э, не беда. Так, может, вы отопрете сарай? — спросил Кароль, так и не переступив порога.

Под ногами уже собралась лужица.

— Почему б не отпереть, только накину что-нибудь. — Женщина метнулась куда-то к вешалке.

Он пошел открывать ворота.

— Хотя нет, погодите — фикус тут.

Он обернулся на ее голос. Женщина спускалась с крыльца — в мужском пиджаке с завернутыми рукавами, в белом платке, завязанном где-то на затылке, под волосами.

— Погодите, разве вы сами подымете такую тяжесть, — сказал он, открывая ворота.

Она ждала его, подвязывая фикус. Платье ее подтянулось выше колен. Ему всегда казалось, что она была во всем, как та беженка, разве что немного пониже ростом. Беженка та была у него давно, во второе или третье лето после войны. Была она тогда одних лет с этой нынешней молодицей — подбиралась к сорока.

Он взялся за второе ушко цибарки с фикусом и отвернулся, чтоб не глядеть ей в глаза: стыдился, что подумалось старику про молодое.

Они молча понесли фикус к хате. Дождь перестал. За хлевом молодая высокая груша остро подымала в небо темную вершинку.

Таз возле крыльца был полон воды, вокруг него собралась лужа. На ней вспухали и лопались пузырьки, будто туда всыпали соды. Женщина обошла лужу и направилась к хлеву, оскальзываясь босыми ногами по раскисшей грязи. Собака высунулась из будки и вскочила лапами ей на ноги, она прикрикнула, отмахнулась,—на икрах у нее зарнела полосами грязь.

В открытый сарай Кароль въехал с телегой. В сарае так пахло свежим навозом, что забивало ноздри: в загородке хрюкал белый длинный кабан и шаркал об стену — чесался.

— Небось добрая шкварка,— сказал Кароль, повесил торбу коню на шею и начал сгребать с воза тряпье.

— Летошний был что лось, а этот заматерел, не ест.— Женщина подняла с земли остатки нарезанной ботвы и бросила за загородку.

Кароль растряс мокре тряпье на земле в свободной стороне сарая, где лежал оставленный им как-то старый кузов от телеги, и сказал:

— Завел бы и я, да кто выкармлививать будет?

— Взяли бы какую, мало ли?

— Не в мои уж годы.— Он подошел к возу и набрал охапку тряпок.— А присмотрел было одну.— Он снова подумал о беженке.

— А говорите — старый...

— Не теперь, а как беженцы ехали, лет пятнадцать уже будет,— сказал он, бросая у стены груду тряпок. Вернулся к возу и заговорил снова: — Молодая была, вот как вы теперь.— И кольнул взглядом.

Женщина покраснела и отступила за коня от его взгляда.

— И почему, дядька...

— Дети у нее остались там.

— Откуда она?

— Откуда-то из-под Воронежа, из села Ганны, говорила.

— И много детей?

— Трое, говорила.

— Всева, что ли?

— Зачем же? Не... Инвалид только.

И ему вспомнилось, что муж, беженка сказала, пришел с войны без обеих рук. Она тогда плакала, рассказывая Каролю: он вез ее на вокзал, помнит, в сумерки, уже выпала роса, и в ложбине при огородах завязался туман. Возвращались в деревню бабы с рядниками за спиной и говорили, что в такую пору растут огурцы. Скрежетал ворот на деревне — кто-то опускал в колодец ведро,— кричали дети на выгоне, голоса были отчетливые,— и беженка вспомнила своих и всплакнула: мал мала меньше и еще за ним ходи, как за дitem.

— Трудно ей пришлось,— сказал Кароль и пошел снимать с коня торбу. Завязал ее и бросил в кузов, чтоб мягче было сидеть на возу, и добавил: — Объездил полсвета, а насобирал во — гляньте — жменю.

Он показал на тряпье и взял коня за оброть возле мокрых, в зеленой пene удил. Потом осадил коня; задирая морду и спотыкаясь на пороге, чуть не приседая на воз, конь задом вышел из сарая.

Женщина заперла сарай и пошла впереди коня.

Кароль выехал со двора и остановился за мостком на улице закрыть ворота.

— Не затрудняйтесь, я сама,— сказала она, подходя к воротам.

— Ну, добро.— Кароль лег на грядку телеги, перевесился в кузов: конь двинулся сам.— Скажите своему, что я на днях приеду.

— Ну да, скажу.— Она стояла у раскрытых ворот. Под ногами у нее зеленела трава.

Кароль отъехал и оглянулся: она все еще не уходила в дом.

Старый Кароль думал о молодой жене Красоцкого и о том, что она похожа на ту беженку.

Во всех хатах сохли запотевшие окна. Из чьего-то палисадника потянуло запахом флоксов. На пустыре возились дети. Бортниковой дочки не было, и Каролю вспомнились те одолженные три рубля. Подумал, что не грех пропить, и поехал не пустырем, а улицей: так ближе было к столовой. Конь шлепал по лужам: вдоль улицы еще текла вода, в колодинах, где ее насобиралось много, вертелась пена и плавала солома.

Кароль будто увидел перед собой Бортника, и ему стало жаль его, как жаль дерева, что росло при дороге, когда его спилият, и вдруг это место оголится — долго там не хватает того дерева.

Дальше стояли новые хаты. Кароль уже не знал чьи — люди строились, кто где мог. Хаты были из шлака, из нового и старого леса.

Хаты стояли уже и на том месте, где в польские времена был свиной рынок. Кароль помнит — по четвергам. А в войну тут обучались немецкие солдаты; на их ружьях блестели штыки.

У Кароля тогда обворвалось все в груди — он едва не наткнулся на такой штык. Перед ним стоял немец — молоденький, и зубы белые, ровные, как не свои: он хохотал, наставив на Кароля ружье, не в грудь, а под ложечку. Кароль шел тогда посмотреть Хонину хату: она стояла в конце свиного рынка.

Немец приказал идти назад, но Кароль не успел — штык впился ниже поясницы. Солдатня помирала со смеху. Рана заживала долго, будто укусила собака. Кароль прикладывал к ране коровяк — желтые цветы на толстом стебле и с широким, как у лопуха, листом.

В Хонину хату он тогда не перебрался, хотя своей не имел — сгорела, когда немцы палили деревню. Жил в местечке недалеко от железнодорожной станции — казенные дома пустовали.

Сюда к нему и пришел Хоня, отделившись от толпы, когда евреев гнали с работы в «гетту». Хоня и говорил тогда Каролю, чтобы перешел в его хату. «Жив буду — помиримся, помру — тебе останется».

Лицо у Хони было желтое и обрюзгшее — пух с голоду. Кароль насыпал ему тогда гречневой муки, кто его знает сколько — в тот карман на всю полу пиджака. Но от хаты отказался, боялся немцев.

Потом немцы жили в этой хате. Говорили, начальник полиции. Должно быть, после, как убили Хоню: их расстреляли там, за вокзалом, где теперь виден длинный холмик с каменным столбиком.

А крыльцо к Хониной хате пристроили немного позже, после войны, когда сделали тут клуб, уже свои. Еще и теперь в стене торчали гвозди. Их тут было видимо-невидимо — понабивали, вешая афиши.

«Кабы хоть повыдергали, портится же сцена», — думал Кароль, минуя дом. Он стоял еще крепкий, смолистый — бревно к бревну, — на две половины, с высокими, в три створки окнами, крытый железом. Около трубы уже завязывалась ржавчина — зимой тут нагревался и таял снег.

«Не своя, никого не заботит». Кароль зашевелился в кузове: мешал мешок и щекотала солома. Кароль стал на колени, перевернул мешок, сел на него и снова принял думать о Хониной хате. Она была ему как своя, и было радостно, что Хоня не кому-нибудь, а ему отдал эту хату. Он даже увидел, как бы жил здесь с беженкой и как она бы твердо ступала босыми ногами по красному полу. И его мысли опять набрели на все стыдное и молодое.

Солнце донимало сквозь фуфайку, словно кто приложил к спине нагретый кирпич. И снова, как на дождь, затягивалось дымкой небо, желтой и ясной,— ог нее кололо в глазах. Над желтоватым укропом, что рос меж свеклы, над тычками фасоли под чьим-то окном, над перевязанным кустом семенной редьки вился белый мотылек, ветер относил его к стене. Мельтешили и остро дзинькали мухи. Кароль свернулся в узкий — двум возам не разминуться — проулок и выехал на шоссе. Конь пошел веселее. Тут уже был асфальт, еще мягковатый и жирный — недавно заливали. Возвращались домой бабы, неся завернутые в белую ряднину пустые бидоны за спиной, а в руках корзины, — они шли серединой шоссе, шлепая босыми ногами по жирной смоле. Ноги их были забрызганы до колен. Кароль поравнялся с ними и поздоровался. Ответила одна — старшая, остальные, помоложе, стали посмеиваться, прячась друг за друга и сбиваясь в кучу, как овцы. Но Кароль уже обогнал их. Он смотрел теперь на длинный, приземистый, как барак, дом с двумя пристройками-сенцами.

На крыше, местами подсохшей, на самом коньке сидел верхом мужчина в железнодорожной шапке и латал крышу — она, как видно, протекала.

— Что, льет за шиворот? — крикнул с воза Кароль, поравнявшись с домом и осаживая коня.

— Как из сита, — не глядя вниз, отозвался человек в железнодорожной фуражке и достал из кармана молоток.

— Лет пятьдесят будет.

— Где там, недавно перекрывали, — сказал человек и взял в зубы гвоздь.

— Строению, говорю, лет пятьдесят будет, немцы еще в ту войну ставили, — сказал Кароль.

Человек кивнул головой — говорить он не мог.

Кароль хотел сказать, что в войну тут жил он сам, но человек в железнодорожной шапке прибивал толь и ответить не мог.

Капало с клена — листва еще была мокрая, и вся в дырочках — источенная хрущами.

«Не тот ли, что я сажал? Под окном. Бровень с крышей уже», — подумал Кароль и снова стал рассматривать крыльцо-пристройку и «свое» окно с занавеской. Было досадно, что тут живет кто-то другой, будто носит твою одежду.

Окно раскрылось, полная голая рука закинула на шнурок нижний край занавески. Из дома высунулась гладкая с лица молодуха, легла боком на подоконник и крикнула вверх:

— Миша, завтракать иди. Будет там греметь!

«Вот где кусок лодыря — среди дня завтракает», — подумал Кароль про молодуху и стал глядеть на другую сторону улицы, вдоль высокого забора, который был еще весь в темных потеках: за ним блестела промоленная крыша. Там было Заготзерно.

За складом гудел, будто в пустую бутылку дул, мотовоз, лязгало железо — подавали вагоны, — и кто-то кричал, должно быть сцепщик.

Кароль миновал длинный забор и остановился по другую сторону улицы возле белого, с высоким цементным крыльцом дома. На ступеньке сидел человек в мятой шапке и босой и, задирая голову, пил из бутылки, разломанная пополам буханка ситного лежала на коленях. Человек вытер губы и поднялся со ступеньки. Отряхнул сзади штаны — видно, по привычке: сидел все больше на земле.

Кароль слез с воза, кинул под ноги коню сена, закрутил за частокол вожжи и побежал к цементному крыльцу.

Дородная девица в белом, испачканном на животе фартуке сказала, держась за дверь:

— Обед, дядька.

— Во-во, паненочка, я ж на обед и пришел.

— Читайте, там написано,— сказала она и хлопнула дверью.

— Только писанным и кормишь...

Кароль хлестнул кнутом по высокой, спутанной у изгороди траве и перешел улицу, чтобы войти в магазин.

Двери магазина были раскрыты — оттуда несло духотой и селедками. Когда Кароль вошел, последние в очереди оглянулись. У прилавка прели одни бабы, и все, видно, за сахаром — поспели ягоды. Передние выворачивали и вытряхивали полотняные мешки.

Кароль обвел глазами полки, на нижней стояли одни темные бутылки.

— А святой водицы нема?

— Нынче и без нее не вытерпеть, варит, как в печи,— отозвалась какая-то из очереди.

— Только вино.

— И на помин души?

— Я же говорю — только вино! — крикнула из-за баб продавщица.

Кароль поднял глаза — на верхней полке, под самым потолком, над ходиками с зелеными шишками-гирями стояли кирзовые сапоги. Подумал, что на осень надо купить.

— Там, в орсовском, возле больницы, ее сколько хочешь, я сам взял.— Голос был вроде похож на Восипов.

Кароля передернуло, будто за пазуху бросили лягушку.

— Я только оттуда,— говорил Восип, но Кароль не обернулся.— Во, справку достал...

— И судиться будешь?

Кароль глянул через плечо. Восип уже был перебинтован, верхняя губа раздулась, будто укусила оса, на мочке уха шелушилась запекшаяся кровь — хорошенко не обмыли.

— Сказали, год-два получит.

Кароль прошел вдоль прилавка, все разглядывая полки, чтобы не смотреть на Восипа.

— Может, подвезешь? — спросил Восип.

— Я ж только из дому,— выходя на улицу, схитрил Кароль.

Конь перебирал сено, под возом гребли куры. Одна сидела уже на грядке телеги. Кароль снял с частокола вожжи — курица с криком отлетела к столовой,— взобрался на воз и направил коня на середину улицы.

За магазином кончался асфальт, пошла мощеная дорога — воз громыхал и трясясь, у Кароля свербело в ушах и стучали зубы.

Тут заливали тротуар, вдоль забора был насыпан битый камень. Цыган, без рубахи, в рукавицах, стоял на коленях и разглаживал доской черную груду. Другой, без шапки, русоволосый, с серьгой в ухе, сидел в теньке под забором, держал меж колен жбанок — полдничал.

Кароль вспомнил, как в войну стояли пустые хаты цыган — аккураг, где столовка. Кто-то повысадил в окнах рамы, было видно, как с чердача свисала, зацепившись за гвоздь, старая одежка. Издали казалось, что кто-то повесился.

Цыганские хаты тут продавались, и даже сходно, и кто-то, верно, купил, но он, Кароль, хотел поставить свою, хоть из молодняка: еще стоял гектар леса — приданое жены. Сначала таскал на плечах, а после добыл коня: немцы бросили на болоте возле деревни бельгийскую кобылу, она хромала — в ноге сидел гвоздь. Гогда Кароль еще был

крепок, хотя какой там лес — жерди. Но халупу сколотил, лишь бы выбраться из местечка. Немцы выгоняли из казенных домов...

Сзади затрубил автобус. Кароль съехал в сторону и забыл, о чем думал.

Автобус дохнул сквозняком и, оседая забрызганным грязью задом, вырулил на остановку. Там зафыркал, выстрелил синим дымом и стих. Привез одних баб.

Кароль узнал только одну: в синей суконной юбке с белой оборкой, монашку, что была приятельницей жены. Вот — жива, а женка давно в земле. Померла где-то, чуть не в Лягнице, три года назад об эту пору — перед жатвой. Дочка дала «тилиграмму», но он так и не собрался: все думал — пока выправишь тот документ на выезд, пока доедешь... После было и стыдно и грешно... Один бог рассудит. Глупый был — за землей погнался, взял старше себя на двенадцать лет. А она все попрекала этой землей...

Вдруг услышал голос:

— Ну, куда ты едешь? Старый что малый.

Кароль поднял голову, конь шел у самого забора, сам выбрал дорогу помягче — не по нраву была мостовая.

Его окликнул человек с завернутой в тряпку косой. Кароль дернулся левую вожжу, конь споткнулся, подвернул ногу и сбился с шага. Воз затрясся на мостовой. У Кароля что-то перевернулось в груди, ошпарило, будто из шайки, и не отпускало. «Надо показаться дохтуру». Кароль согнулся, прижал грудь руками — немного отлегло.

За переездом кончалась мощеная дорога. Воз перестало трясти, Каролю полегчало. Пахло мокрым песком и откуда-то дымом, крепким и горьким. Каролю захотелось курить. Видно, где-то за вокзалом между рельсами тлел уголь. И снова гудел мотовоз, как ветер в пустую бутылку, — негромко, издали.

Кароль был уже в конце местечка. Хаты стояли по одну сторону улицы.

Улица сузилась, будто ее чем перевязали. Местечко кончилось, только столбы побежали дальше меж овсов и низким желтым люпином, что цвел без запаха: желтый люпин пахнет только перед дождем.

Было видно хату — соломенный лоб стрехи, как крыши раньше и не делали щита. Там где-то скулила собака. Начинались Ятринские хутора, до деревни было еще с добrouю версту. Кричал чибис — за хатой было болотце. Скрипели гужи на оглоблях, шаркала задняя ось по колодке, мягко ступал конь, но Кароль не слышал — ему снова вспомнился Восип. Вспомнилось то время, когда он, Кароль, был конюхом, а Восип бригадиром. Другие мужчины боялись лезть в эту шкуру, а тут он вернулся на деревню — «сократили» с железной дороги.

Кароль тогда был один на десять коней иправлялся не хуже, чем нынешние вдвоем — конюх с помощником. Тогда в Ятре и конюшни не было — кони стояли в Каролевом гумне.

Зима в тот год наступила рано — на покрова. После рождества лютовал мороз, не отпускало почти до самого благовещения. Кони после ночи стояли заиндевевшие, словно осыпанные снегом. Один и пал, как раз молоденький: кашлял и чах давно. Кароль говорил Восипу, чтоб затребовал из района ветеринара — может, выходил бы. Но Восип напьется, его и не видишь.

А после привел председателя с участковым и говорит: «Этого не кормил, смотрел только своего». И по правде, Кароль «своему» давал больше: жеребец от той бельгийской кобылы был что гора, разве ж ему дашь меньше. Но тут лукавый попутал: как держал Кароль обороть в руке, так и перетянул Восипа по голове — над бровью у того вскочил

гуз величиной с орех. Может, и судили бы, да забраковали по годам, сняли только с конюхов.

Восип не спустил: свел лес, говорил, нет разгону трактору. Ел поедом. А Красоцкому нужен был еще один старьевщик — благо и замолвил словцо Бортник. А на конюха Восип привел своего шурина из Литоварцев, чтоб сподручней было воровать. Накрыли его, хотели забрать, да злыдень смекалистый: развелся с женой и хата осталась за ней; но с бригадиров все же прогнали. Теперь дерется с шурином — чего-то не поделили. Еще и в тюрьму упечет.

У Кароля снова потяжелело в груди, во рту сушило, разомлел весь, как от жары.

Показалась деревня — первые на пригорке хаты и темные против солнца деревья. Было видно жито, белое на возвышенности, выгоревшее перед деревней.

Над дорогой сновали ласточки, круто взлетали над Каролем вверх и, казалось, сжимались в комок от резкого писка.

Конь оскальзывался на раскисшей грязи, грязь тянулась за копытами, как вязкое тесто.

Ближе ко ржи было суще. Тут весной нанесло песку, на нем пробилась редкая, сухая, как в картофельной яме, трава.

Рожь цеплялась за тяжи, стебли рвались со звоном, колосья взлетали и осыпались на коня. Конь прижимал уши и косился. Рожь стояла стеной — высокая, на толстых, как тростники, стеблях, хоть оборону ставь.

Кароль протянул руку, поймал соломину, в кулаке остался колос. Он пах лесным клопом. Кароль вынутил зернышко, кинул в рот и долго ловил там на зуб.

«Еще не налилось, недели две будет созревать. Еще не скоро жать», — подумал Кароль, вглядываясь в рожь. Ветер ходил перекатами, рожь шумела — поднималась и замирала. Шевелились только колосья. Рожь была, как вода в речке: не прислушиваешься — не слышно. Вблизи ржи делалось свежо на душе, как и вблизи воды.

На меже в выгоревшем сухом чернобыле лежал камень. Тихо, как вор, с него всплыл над полем коршун, лениво взмахнул крыльями. На камне цвел зеленый лишайник, а на самой макушке в птичьем помете блестели крылья черных жуков. Камень был таким же старым и много лет назад. А дальше за камнем, как идти в ложбинку, цвел шиповник — линяли и осыпались лепестки. Так же, как и тогда, когда ходил он сюда с беженкой. И тогда стояла редкая, почти желтая от румянки рожь и ветер ходил перекатами. На шиповнике линяли и осыпались лепестки — самая теплая пора лета и пора голода, когда цветет боб.

На Украине в тот год была засуха: беженцы ехали все сюда, на вокзале из-за них было не пробиться. Кароль и сам не помнит, зачем пришел сюда из местечка, стоял на перрсне. Тогда к Каролю и подошла она, босая, рослая, держа на голой руке жакетку, в другой — kleenчатую сумку, местами уже облупившуюся. Платье на ней было чистое, не как у беженки. Только по разговору Кароль понял, что она не здешняя, а присмотревшись, увидел, что и лицом как будто не такая — круглее и рот малый. И в лице желтизна, в глазах угасал блеск. Говорила, что три дня ничего не ела. Кароль привел ее тогда к Бортнику, накормил; в деревню пришли они — солнце клонилось к вечеру. Ночевать, однако, не осталась.

Она ему тогда так глянулась, как никакая до того, а может, и за был уже о других.

И Каролю вновь припомнилось все стыдное и молодое. И та межа с

сухим чернобылом, и истомленная здоровая ясность, будто обновился свет после этого.

В сумерки он запряг коня, вскинул на воз мешок ржаной муки, торбу ячменя и поехал с ней в местечко — повез на станцию.

В ту ночь не спал: перед глазами стояла межа с чернобылом и шуршала высокая, как тростник, рожь. В хлеву топал конь, и Кароль вставал поглядеть на него. Он послушал, как низко шумел и громыхал, стихая за местечком, поезд, подумал, что где-то вот так едет она, вернулся в хату и под утро заснул.

А после, с год времени, каждая молодуха мерещилась беженкой, Кароль даже стал пугаться. Со временем испуг прошел. А беженка все помнилась, помнились рожь и межа в сухом чернобыле. Перед глазами шевелились колосья — вот так же — не от ветра, от тяжести, и шуршали, как шуршат мураши, когда тронешь их муравейник.

Воз тряслось, как на мощеной дороге, у Кароля начало все дрожать внутри, лязгали зубы. Грудь стеснило и заняло дух. Кароль наклонился к грядке телеги. Перед глазами качалась, гнулась рожь, будто кто прижал ее палкой. И вдруг Каролю показалось, что он едет рожью, своей рожью, что сеял некогда у болотца возле леса. Рожь была скучная, редкая, в колокольчиках вьюнков. Кароль глянул в сторону леса: кто-то косил Каролево жито. Кароль онемел. Хотел крикнуть, а голоса не было. Кароль поискал глазами камень, но в горячке не нашел. Так и побежал с голыми руками — рожь путалась и хватала за ноги, хлестала колосьями по рукам.

«Опомнись, что ты делаешь?» — закричал было Кароль, но голос пересох в горле. Косец поднял косу, мокрую от травы, размахнулся и вогнал Каролю острие в грудь. Жаркий шум хлынул в голову. Кароль съехал в середину воза, вытянулся и застыл.

Конь вышел из ржи, постоял на песчаной дороге, подумал, что тут нет травы, и пошел в деревню.

Кароля похоронили родичи на третий день, без дочки: она прислала телеграмму, что приедет через неделю. Хоронили в полдень. День выдался сухой и ветреный — был уже сенокос. За гробом шли бабы с граблями — как раз собирались ворошить сено. Никто не плакал, все спрашивали, имеет ли право Каролева дочка продать его хату, потому что он, говорят, оставил завещание, чтобы хату отдали какой-то женщине из-под Воронежа, из села Ганны.

Гроб вез колхозный конь. А Каролева коня Красоцкий отвел в местечко. В тот день он сторговывался с новым тряпичником — русоволосым молодым цыганом с серьгой в ухе. Они пили у Красоцкого, и жена ушла из дома и рвала на меже траву.

Вдруг заржал конь. Жена Красоцкого постояла на меже, прислушалась и, придерживая обеими руками фартук с травой, пошла в хлев.

Конь, задрав голову, стриг ушами. Ей вспомнился Кароль. Конь опустил голову. В загородке завозился кабан. Она насыпала ему зелени и вышла из хлева. Из будки, гремя цепью, выскочила собака. На крыльце хозяйка остановилась, прислушалась, что делается в доме. В хлеву снова заржал конь, негромко, будто звал хозяина.

*Перевел с белорусского Н. Кислик.*

